

БОРИС
ЗЕМЦОВ



**БУТЫРСКИЙ
АНГЕЛ**
ТЮРЬМА И ВОЛЯ

Борис Земцов

Бутырский ангел. Тюрьма и воля

«Книжный мир»

2019

Земцов Б. Ю.

Бутырский ангел. Тюрма и воля / Б. Ю. Земцов — «Книжный мир», 2019

ISBN 978-5-6042990-7-4

Ад на земле – не под землею. Он существует по соседству с нами. И его красочное, подробное, со знанием дела описание дает один из самых легендарных писателей нашего времени – Борис Земцов. Человек незаурядной судьбы, словно призванный подтвердить истинность поговорки «от тюрьмы да от сумы не зарекайся». Борис Земцов был и сотрудником «Независимой газеты», и русским добровольцем на Балканской войне, и заключенным нынешнего режима. Сегодня он и заместитель главреда известнейшей патриотической газеты «Русский Вестник». Новая книга Бориса Земцова, которую вы держите в руках – это скрупулезный, честный и беспощадный анализ современных тюрьмы и зоны. Лев Толстой с «Воскресением», Федор Достоевский с «Записками из Мертвого дома», Варлам Шаламов с «Колымскими рассказами» – каждое поколение русских писателей поднимало тему преступления и наказания. В наше время в их ряд встал Борис Земцов со своими книгами о тюрьме. Хотя в наше время наказание всё чаще бывает без преступления.

ISBN 978-5-6042990-7-4

© Земцов Б. Ю., 2019

© Книжный мир, 2019

Содержание

Игорь Дьяков	6
Ангел на пальме	11
Серебряные стрелки, хрустальный циферблат	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Борис Юрьевич Земцов
Бутырский ангел. Тюрьма и воля

© Б.Ю. Земцов, 2019

© Книжный мир, 2019

Игорь Дьяков Анатомия ада

Прочистились мозги и организм.

*Понятней стал и власти механизм.
(Из лагерного фольклора)*

Быть может, двусмысленно и даже кощунственно звучит, но период жизни, проведенный в местах, не столь отдаленных, и тем более совсем не комфортных; период, после которого большинство, как правило, ломается, оказался для Бориса Земцова подобием творческой командировки.

Или именно таковой – творческой командировкой, что называется, по совместительству.

Вот уже на протяжении нескольких лет и нескольких книг он дает скрупулезный, честный и беспощадный анализ тому аду на земле, с которым, к великому горю нашему, оказались связаны судьбы миллионов и миллионов соотечественников: тюрьмы и зоны.

В предлагаемой книге рассказов это писательское расследование продолжается. И продолжается в явном развитии, выходя на новый уровень, так как писатель, кажется, в своём творческом полёте полностью отбросил неизбежные «первые ступени», как-то: подробный бытовизм, общие характеристики лагерных «страт», вполне понятное содрогание от попадания из нашей какой-никакой, но жизни, в подлинный ад, который, оказывается, всё время находился – и продолжает находиться! – буквально под боком.

Его освещают те же салюты, на которые мы любимся с детишками на плечах; он таится за ближними кустами, за спинами целующихся пар, за памятником Родине-матери в Волгограде.

В нём слышны те же звуки улиц, по которым ходят-ездыт «вольняшки», то есть мы, не ведающие, что в современной нашей не-жизни любой, буквально любой может оказаться в этом аду!

Борис Юрьевич, по всей видимости, опирается в своём творчестве на свои всё более поздние и, соответственно, более кропотливые записи, когда уже экспозиция описана, и можно переходить к художественному осмыслению данности непосредственно.

Да, анатомические действия Земцова включают и анализ звуков, и анализ цветов – восприятие тех и других несчастными, попавшими в ад.

«И вспоминаются здесь чаще всего звуки самые обыденные, бытовые, домашние. Например, шкворчание котлет, что жарятся на кухне на сковородке, накрытой крышкой. Или мурлыканье кошки, что угрелась у тебя в ногах. Даже шум лифта, позвякивание ножей и вилок, хлопанье извлекаемой из бутылки пробки – всё это, поднимаясь со дна памяти, звучит по-иному, ласково и добро». Этот тихий гимн жизни, которую мы далеко не всегда ценим, – из рассказа «Говорит и слушает... тюрьма».

Рассказ «Серый и бурый» посвящён зловеще-убогой цветовой гамме: «Читал, слышал, догадывался, представлял, как скромен спектр тюремных красок, но чтобы так, чтобы настолько...»

Конечно же, красной, можно сказать, кровавой нитью через рассказы Бориса Земцова проходит тема несправедливости самого попадания в ад для многих, слишком многих. Таких историй на зоне и в тюрьме – масса. И придумывать их смысла не имеет – все они тщательно проверяются на воле компетентными неформальными органами (то есть, пардон, «пробиваются» братвой), и итоги проверки этой доводятся до всех сидельцев в соответствующих «малявах», доставляемых в каждую камеру по «дороге» и в каждый барак «блаткомитетом».

Из рассказа «Ангел на пальме»: «В «пятёрке», в СИЗО № 5, где до приговора отсидел почти полгода, сменил он три камеры. За это время прошло перед ним больше сотни арестантских судеб. И ни одна эта судьба не была озарена торжеством справедливости или счастливого послабления. Это означало, что никто ни из одной камеры на волю не вышел: все только на этап, только в зону, только из одной разновидности неволи в другую».

Жернова крутятся строго в одну сторону: на беспощадное перемалывание людских судеб.

Процент оправдательных приговоров у нас на порядки ниже, чем в сталинские времена.

У судей негласная норма: выносить в год приговоров НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ!

Апелляционные судьи, как правило, торопливы и/или откровенно спят, когда исполненный наивной надежды зек аж звенит от напряженного ожидания справедливости.

Пример из Земцова, как пьяненькому мужику пришили «три гуся» (суровую статью 222, за незаконное приобретение оружия и т. д.: «Ситуация комедийно-трагическая. Не охотник, не стрелок, не владелец оружия, наконец, просто совершенно не имевший на тот момент денег, очень и очень пьяный человек вдруг покупает патроны. Да и с каких пор в пивных ларьках начали торговать боеприпасами?»

План, план, план! Борьба терроризмом!..

А уж такие тонкости, как «внутренние качества», в наших судах не учитываются уже давно и тотально. Это машина по переработке человек. И сегодня, пожалуй, самый прожорливый её элемент – «народная» 228-я статья, по которой перемалывается, кажется, целое поколение русской молодежи.

Другой важный аспект, обойти который честный писатель не может – это абсурдность самой формы наказания, против которой в «Воскресении» мощно выступал сам «матёрый человечине».

Какое там исправление?!. Лучше Толстого не скажешь, но кое-что добавить можно.

Герой Земцова, осмысливая количество недель, месяцев и лет, которые ему предстоит провести в аду, рассуждает: «Никогда не думал и представить не мог, что обычные цифры, выстроенные при помощи самых простых арифметических действий в несложную, даже не систему, а обыкновенную очерёдность, могут уподобиться... катку, что немилосердно и необратимо раскатывает волю, а заодно и всё сознание, во что-то плоское, безликое, совершенно тебе уже не знакомое. Выходило даже, что не волю и сознание тот каток утюжил, а всю человеческую сущность и достоинство уродовал и уничтожал».

Что таить, автор этих строк, проработавший в журналистике больше сорока лет и никогда в жизни даже в милицию не попадавший, тоже... угодил. Подсустились добрые люди. Об этом – только для того, чтобы вы понимали, какими глазами приходится читать земцовские рассказы, и что мнение сие не есть мнение кабинетного бумагомака.

Очень невесело, надо сказать, смотрится окружающий мир из тюремной камеры:

*Бурелом до горизонта.
Море сломанных судеб.
Потаённый фронт без фронта.
Жизни клятой горький хлеб.*

*Здесь – пародия пародий.
За стеною – псевдо-жизнь.
Две России, два народа,
Двуединный организм.*

*Прихоть псевдо-государства —
С воли стон, в неволе стон.*

*Власть, не скрыть тебе маразм свой, —
Попран Божеский закон.*

Пожалуй, больше всех «пробил» рассказ «Чёрный зверь, лежащий на боку». Это очень точная метафора зоны – громадного хищного зверя, который «питается нашей энергией, нашим здоровьем, нашей жизненной силой. Мы, арестанты, – пища для этого зверя».

Птиц над головой здесь не бывает. Все маршруты пернатых обходят лагерь стороной. То ли чувствуют энергетический столб чёрного горя людского, то ли сторонятся смрадного дыхания чёрного хищника.

Подметил писатель и такое, казалось бы, мелкое явление (вообще-то мелких явлений там нет), как особые лагерные кошки. Они настолько вызывающе свободны, что без зазрения совести сношаются перед трибуной, наполненной лагерным начальством.

Но и к птицам, и к кошкам «Чёрный зверь» равнодушен. Они ему недоступны и неинтересны. Ему нужны людишки!

И зеки остаются годами в облаке его смертоносного дыхания. Без союзников, хотя бы в виде какой животины.

И Чёрный зверь с удовольствием жрёт! Впавший в дурной азарт Лёха Барабан повесился из-за проигрыша в 50 тысяч. Костю Грошева, который «без флага, без Родины», то есть из хохлов и без российского гражданства – тромб свалил за две недели до воли. Беда и с Вовой Слоном, и с Тёмой Маленьким...

В рассказе «Серебряные стрелки, хрустальный циферблат» возникает другой точный образ: жернова. «Только реальные, пусть киношные, мельничные жернова, перемалывали зерно, умножая тем самым его и без того великую жизненную силу. Условные же, лагерные, жернова перемалывали арестантские жизни. Результатом этой работы был не белый, ласкающий глаз мучной ручеек – символ сытости и плодородия, а чёрная труха переломанных арестантских судеб».

Но всё же не «тварь дрожащая» превалирует на зоне. Вечно трепеща, не выживешь. Одна минута отчаяния – и падаешь в пропасть, из которой можно и не выбраться.

Более того: как ни дико это может кому-то показаться, но сильный человек, выстояв, способен извлечь пользу для себя даже из пребывания в аду.

Ты учишься (если раньше не умел или умел плохо) «говорить со всей ответственностью «да» и «нет», жестко определять круг своего общения, намечать и различать близкие и далекие цели... Ничего здесь не спрятать, не утаить... В зоне человек со всеми своими «плюсами» и «минусами», сложностями и достоинствами прозрачен, как нигде».

Что верно – то верно, – это можно утверждать с тем большим основанием, чем дольше ты работал, к примеру, в Государственной Думе!

А справедливое наказание за подлость, которую скрыть практически невозможно, здесь практически неизбежно.

В рассказе «Третье погоняло» Борис Земцов внятно описывает эту систему наказания, которую неплохо в известных пределах и формах применять и на воле, особенно среди чиновничества: «переселить с участка «для порядочных» в проходняк «для обиженных», то есть «просто в иное измерение... Кстати, угодить туда – означало пробыть там непременно до конца срока, ибо механизма возвращения оттуда не существовало вовсе. Туда – можно. Обратно – нет! Как в некоторых видах зубчатой передачи. Движение только в одну сторону».

На эту тему сладко мечтается, например, когда пытаешься понять, куда делись 10 триллионов пенсионных рублей тех работавших и не доживших до пенсии русских людей, кто умер с 1995 по 2015 год...

Мужественный оптимизм писателя простирается до очень серьёзного вывода: «для порядочного, думающего арестанта – время, ушедшее на тюрьму, лагерь не вычитается из количе-

ства, отведённых судьбой и Богом лет, а приплюсовывается к ним. Отбытый срок просто раздвигает, удлинняет человеческую жизнь».

Хочется констатировать особую точность и такого наблюдения:

«Чем ближе освобождение, – пишет Борис Земцов от лица одного из своих героев, – тем больше пугал тот мир, из которого арестант надолго выпал, в котором он был уже никому не нужен, а лишь всех настораживал, всем мешал. Мало кто в этом признавался даже самому себе...»

Кажется, уместно бросить и свои «пять копеек»:

*Когда бы не тюрьма – самообман бы длился.
Ты б руки пожимал, готовые душиить.
Один лишь взмах судьбы – и занавес открылся.
Распахнут балаган, в котором прочил жить.*

*Застольный возбуждѣж и заверенья в дружбе...
Восторженность... В ответ – ухмылка и навет.
Холодные глаза, корпоратив на службе.
От тайного врага неискренний привет.*

*Теперь я вижу всё за роговицей глаза.
Там – аспидный клубок рептильного ума.
Лжеца и подлеца определяешь сразу.
От скольких пропастей нас отвела тюрьма!*

*Ты отмотал свой срок, но сэкономил годы.
Чистилище пройдя, ты качества достиг
И жизни средь людей, и подлинной свободы.
Отныне – адамант на воле каждый миг!*

Ощущение свободы, которая именно «наваливается», передано в рассказе «Сладкая водка свободы». Момент выхода из зоны незабываем, как первая свадьба или... Да не с чем это не сравнить! И видишь урочище «Чёрного зверя», из которого вот только что вышел, со стороны: «Фабрика? Наверное, действительно, фабрика. Фабрика по уродованию человеческого материала. Фабрика по уничтожению личности. Фабрика жестокого, трижды неестественного отбора».

И сторожко озираешься вокруг, чутьём угадывая, что здесь, на этой нашей нынешней воле, «гуманизм и милосердие сродни импортным лекарствам, сработанным азиатами в каком-нибудь подвале», что «здания без решёток, люди не в робах, люди без дубинок, машины, дети, женщины», – всё это лишь декорация свободы...

Один из последних рассказов Земцова – «Как дед Калинин детским писателем стал» – построен по законам эпоса или сказки: герой, немолодой бывший зек, пытается издать свои рассказы в трёх местах, и отовсюду уходит после мерзопакостных предложений «добавить рассказик». Мерзопакостных, ибо довески заключаются в восхвалении тех, кто в существующей системе никакой похвалы не заслуживает: это менты, якобы способные кого-то исправить; содомиты, которые нынче в тренде; и правозащитники, никого не защищающие и защищать и не думающие.

Здесь Борису Земцову удалось сделать очень удачный взрез писательским скальпелем. Истрадавшаяся без справедливости русская душа, истоптанная свинцовыми мерзостями нынешней жизни, лицом к лицу сталкивается с полным набором гадости, что плодится через

«окна Овертона». И дед Калинин выдерживает удар. Душа русская выстояла! Обошлась без липучих компромиссов, для неё смертельных...

Тащит, тащит упорно Борис Земцов свои рассказы в наше убаюканное симулякрами сознание. И не подпускает к себе ни казённого оптимизма, ни излишнего греховного уныния, – ибо, читаем между строк – и то, и другое от лукавого.

А вообще-то... душа рыдает.

«Отрыдаться бы...», – так начинается один из самых пронзительных рассказов сборника – «Ангел на пальме».

Игорь ДЬЯКОВ

Ангел на пальме

«Отрыдаться бы...» – вывел он в засаленном блокноте, уже приговорённом быть до последнего листка его тюремным дневником. Дневником именно тюремным, а, значит, главным, если не единственным его собеседником на весь срок неволи. Со всей серьёзностью, и, неминуемо, жестокостью...

Вывел машинально, смысл написанного настиг его позднее, когда обратил внимание, как испортился почерк: буквы были разного роста и стояли под неодинаковым углом к линии строки, если бы таковая присутствовала на нелинованном блокнотном листке. Показалось даже, что толщина букв разная, а сами очертания этих букв неправильные: дряблые и прерывистые.

«Можно и не читать, можно и не уточнять, кто, где и в каком настроении написал... Всё по буквам понятно... Не надо графологом быть...»

От этой мысли стало ещё хуже, хотя только что казалось, что за все прожитые сорок лет так плохо, как сейчас, не было никогда.

«Диагноз!» – хлестануло где-то внутри. В самый последний момент безоговорочный тон приговора в собственных мыслях сменился обнадеживающей вопросительной интонацией. Потому что вспомнил, как адвокат вчера говорила: «касатка» отправлена, в следствии неточностей и откровенных ошибок куча, словом, есть серьёзные основания для переквалификации «сто пятой» на «самооборону», короче, есть шанс.

Шанс... Если не на обретение самого важного, так, по крайней мере, на робкое движение в эту заветную сторону. Очень слабое движение, но движение со знаком «плюс». Это, потому что в ту сторону, откуда свободой пахнет. Удивительный запах! Несидевший человек, не то, что не оценит его, просто не унюхает. Это как ветку жасмина совать под нос тому, у кого жестокий насморк.

Почти улыбнулся, хотя вряд ли со стороны можно было обнаружить даже подобие чего-то радостного в чуть изменившейся конфигурации его губ.

Тут же другое вспомнил...

В «пятёрке», в СИЗО № 5, где до приговора отсидел почти полгода, сменил он три камеры. За это время прошло перед ним больше сотни арестантских судеб. И ни одна эта судьба не была озарена торжеством справедливости или счастливого послабления. Это означало, что никто ни из одной камеры на волю не вышел: все только на этап, только в зону, только из одной разновидности неволи в другую. Со ступеньки на ступеньку вниз, ближе к очень долгому, а потому кажущемуся окончательным, беспросветному будущему. Это будущее – несвобода. Как много мог бы он отдать, чтобы такое будущее в один миг стало прошлым.

Верно, и это – движение. Только уже не со знаком «плюс», а со знаком «минус». И не робкое, а жесткое, решительное и, главное, с твоими желаниями ничего общего не имеющее. Принудительное, короче, движение, когда не идёшь, а тащат тебя и волокут.

Потому и мысль про адвоката, с «касаткой», им сочинённой, как-то поблёкла, а потом и вовсе из сознания пропала, будто не было её там никогда. Вместо этой мысли, которая, пусть с фантазией и натяжкой, но привкус надежды имела, цифры появились. Точнее арифметические действия. Действия простые и от простоты этой... откровенно жуткие.

9 на 12. Это – 108. Сто восемь! Девять – это объявленный судом срок. Девять лет. В каждом году – 12 месяцев. Отсюда и сто восемь месяцев.

Сто восемь месяцев – много! Так много, что и в голову не втрамбовывается. Можно, конечно, из этого срока полгода подследственных, уже в тюрьме проведённых, вычесть. Только что от этого изменится? Разве намного определённый судом срок сократится?

Опять в голове заворачивались те же действия из начальной, самой простой, но такой нехорошей арифметики. Пусть, восемь с половиной на 12. Это всё равно почти сто восемь. Всё равно 108! СТО ВОСЕМЬ месяцев неволи, когда вся жизнь между сплошными «нельзя» и «не положено» футболился.

А в продолжение к этой арифметике ещё одно действие напрашивалось. Такое же простое, но жуткое уже в квадрате. Если эти... 108 на 30. То есть, число месяцев на количество дней умножить. В итоге выходило что-то такое, что вовсе за пределами разумения находилось. Разум здесь просто капитулировал и признавался в полной неспособности выполнять своё предназначение – помогать тому, кому он принадлежит.

Никогда не думал и представить не мог, что обычные цифры, выстроенные при помощи самых простых арифметических действий в несложную, даже не систему, а обыкновенную очерёдность, могут уподобиться... катку, что немилосердно и необратимо раскатывает волю, а, заодно, и всё сознание, во что-то плоское, безликое, совершенно тебе уже не знакомое. Выходило даже, что не волю и сознание, тот каток утюжил, а всю человеческую сущность и достоинство, уродовал и уничтожал.

Между тем, количество дней наваливающейся несвободы можно было умножить ещё и на двадцать четыре, на число часов, которые включает в себе каждые сутки. Калькулятора в его распоряжении не было, столбиком считать часы грядущей неволи он не осмелился. Инстинктивно чувствовал, что в результате этого примитивного арифметического действия родится не цифра, а... зверь, хищный и безжалостный, перед которым он безоружен и беззащитен.

Уже не стоило удивляться, почему буквы в единственной фразе, что недавно в блокноте вывел, такие некрасивые и неправильные. Действительно, в нынешней обстановке такую фразу с учётом формы и содержания и как диагноз и как приговор расценить можно.

«Отрыдаться бы!»

Перечитал ещё раз. Не быстро, будто читаемое не двенадцать букв, а пару абзацев убогистого текста составляло, и всё написанное... зачеркнул. Старательно и основательно зачёркивал, каждую букву по отдельности вымарывал, а потом всю фразу в сплошной тёмно-синий, почти чёрный, прямоугольник превратил. Выдохнул с облегчением. Потому что смог написанное уничтожить до того, как это кто-то прочитать успел. Впрочем, кому читать? Сейчас в камере у него всего-то трое соседей оказалось, да таких, что ни одному из них, что печатное, что написанное постигать – задача невыполнимая.

Хотя совсем не этих людей сейчас он видел, и вовсе не от них хотел скрыть свою слабость, если не что-то куда более важное, что было сконцентрировано в той, уже превратившейся в безмолвный тёмный прямоугольник, короткой фразе.

Двух своих сыновей, погодков, тринадцати и двенадцати лет, очень явственно и очень близко увидел он в этот момент. Прямо на фоне не щедрой на краски и детали панорамы бутырской камеры. Стояли они между умывальником с угрюмыми проплешинами отбитой эмали и тюремным столом-дубком, сваренным из стальных уголков. Молча, стояли, смотрели на отца с грустью и состраданием, несколько не обращая внимания на окружающую обстановку, о которой раньше только по книгам и кино отдалённое представление имели.

«Зря вы, ребята, сюда, нечего здесь вам делать...», – на полном серьёзе подумал, будто впрямь могли его дети здесь очутиться, миновав стены, сложенные ещё в екатерининский век, и прочие препятствия, что наглухо разделяют волю и неволю.

На том же серьёзе с удовольствием отметил, как хорошо, что не увидели сыновья некогда выведенную в блокноте, под дневник приспособленном, недавно вымаранную фразу. Ещё бы, ведь в таком неприглядном виде могла она представить перед ними их отца, а оправдываться, что-то объяснять, в этой ситуации возможности нет.

«Потом, потом объясню, может, к лучшему, что это не сейчас, а потом, что всё на очень долгое время откладывается, за это время и сыновья подрастут, разума накопят, и у меня

настроение отстоится, а, значит, более подходящие слова для объяснения найдутся...», – сам себе растолковал, сам себя успокоил. Кажется, уже, было, и успокоился, да возник внутри неизвестно откуда вопрос. Шершавый и горячий, неудобный по всем параметрам:

«А если, всё наоборот: и ума у них не прибавится, и слов тех нужных у меня не отыщется?»

Растерялся от этого вопроса, заворочался на продавленном шконаре, зашарил беспомощно глазами по сторонам. С радостью отметил, что сыновей в промежутке между дубком и умывальником уже нет. Возможно, их там и не было. Да и откуда им там взяться? Без страха и удивления предположил, что, наверное, именно так сходят люди с ума. Только, когда такое происходит с другими – это одно, а когда такое творится с тобой самим – это совсем другое. Тут самое страшное – нарастающее осознание собственного бессилия перед безумием, которое не просто овладевает тобой, а начинает вытворять с тобой совершенно непредсказуемые вещи.

Всё равно подумал, скорее, заставил себя подумать, что ничего плохого, тем более, страшного, в этом нет, что скоропостижное сумасшествие – это один из видов реагирования человека на окружающую обстановку, значит, один их видов существования этого самого человека. Возможно, это даже... особенное проявление мудрого инстинкта самосохранения. И чего здесь плохого, тем более, страшного? Вот тут, правда, внутри какой-то рычажок щелкнул и кто-то одёрнул, что пролаял: «Отставить! Не наш путь!»

Чуть кивнул он сам себе и так же сам себя спросил едва слышно: «А где он, наш то путь?» Будто в поиске ответа на заданный вопрос ещё раз осмотрелся, и сказал веско и убедительно, но уже про себя: «Отсюда путь только один – на этап, в зону, без вариантов!»

Конечно, опять вспомнил про... движение. В ту сторону, куда не идут, а волокут и тащат.

Хотел было при этом сам себя утешить, перетасовать какие-то тёплые и мутные слова, среди которых самые желанные, а потому и различные, были «адвокат» и «касатка», только не сложилось с утешением. В оконцовке и эти немногие различные слова растаяли. Вместо них в сознании что-то вроде заставки замаячило. Вроде и разноцветной, но всё равно тёмной и тяжелой. А потом...

«Не хочу в зону! В зо-ну не хо-чу! Не хо-чу в зо-ну!», – застучало в нервном дёрганном ритме в голове. Только не в висках, как писатели пишут, а где-то глубже, да так сильно, что зубы подобие дроби выдавать начали. Понимал, что это постыдная и непростительная слабость, но изменить ничего не мог. Не было для этого ни сил, ни желания. Вообще, никаких желаний не было. Даже курить не хотелось.

Желаний не было, но то «Не хочу!», адресованное к собственному очень близкому и неминуемому будущему, внутри по-прежнему стучало. Казалось, уже не только в голове, а во всём теле.

«Да это же истерика... Натуральная бабья истерика...», – бесстрастно и безжалостно определил он и в очередной раз испытал что-то похожее на радость, потому что рядом не было никого из тех, перед кем ему могло быть стыдно за это состояние. Тут же так же безжалостно пошутил сам над собой: «А валерьянки накапать некому и душеспасительных слов никто не произнесёт...»

Поспешно попытался вернуть себя к реальности: «Какая, к чёрту, валерьянка, кому здесь, в бутырской камере, читать мне душеспасительную мудрёнку...»

И ещё дальше заспешил он в направлении той самой реальности. Да так заспешил, что со всего маху врезался в то, что отбросив интеллигентские сопли и христианские трафареты, иногда можно считать выходом из очень сложного положения. Хотя разве можно врезаться в то, что считается выходом? Тут какая-то путаница, в которой воображаемое и осязаемое перемешались. «Выход» – само слово очень решительное и мужественное. Ну, и вся его начинка, весь его смысл нынешней ситуации соответствует. Выход такой: уйти! Именно... уйти!

Совсем не хотелось ему в тот момент даже в собственных, никому не озвученных и даже не доверенных тому засаленному блокноту, мыслях употреблять громоздкое со многими тупыми углами слово «самоубийство». Слово можно и не употреблять, но смысл его остаётся. Понятно, в связи с обстановкой у этого смысла здесь своя специфика. Жесткая специфика. То, что на воле всегда под рукой, всегда к услугам твоим, здесь просто исключено. Согласно правилам, где «нельзя» – «не положено» во главу поставлены.

Это вольному человеку, «уйти» пожелавшему, представляется богатенький выбор: можно под поезд, можно с моста или с балкона высоты, можно газовый кран крутануть, можно... Много чего можно... Как красиво можно расквитаться с жизнью, если чуть-чуть начитан и что-то огнестрельное под рукой нашлось! Хочешь в традициях белой гвардии ствол к виску, хочешь, если с Фрейдом знаком, тот же ствол – в рот. Ещё можно Хемингуэя вспомнить: взять ружьё, опять же тот же ствол в рот, а на курок не совсем эстетично, но надёжно, – большим пальцем ноги пустячное усилие... Не говоря уже про аптеку со всеми разновидностями снотворного и болеутоляющего. А тут... Тут всё существование из одних «нельзя» и «не положено» состоит. Потому «вольные» варианты «ухода» здесь не актуальны.

Конечно, и тут «уходят»... По своей воле, по своему желанию, по причине отсутствия прочих хотя бы каких-то вариантов собственного будущего... Буквально пару дней назад мусора раскидали хату этажом выше после того, как там цыган-наркоша удавился. Умудрился удавиться! Потому как та хата заселена была с избытком (некоторые даже спали на одном шкафу по очереди), кажется, каждый на виду у столько-то глаз, и вдруг... такой кульбит. Чтобы «уйти», тому цыгану пришлось с головой одеялом накрыться, потом к прутьям кровати в изголовье жгут из простыни приладить, и голову в петлю из этого жгута вставить.

Как можно лёжа удавиться представить сложно, только у цыгана вышло.

Кажется, и на «петрах», где он первые две недели своей неволи провёл, тоже рассказывали про такой же вариант арестантского самоубийства. Только тогда про какого-то крутого бобра – предпринимателя с именем речь шла, кому светило срока столько, сколько у дурака махорки бывает. Впрочем, детали эти ни к чему сейчас из памяти выскрёбывать, куда важнее на самом главном сосредоточиться. А самое главное сейчас то, что только тебя касается. К месту вспомнил афоризм местного тюремного производства, на стене в прогулочном дворике нацарапанный: «Каждому – своё, а своё – никому!»

«Смогу я так?» – спросил он сам себя. Показалось, что вопрос вслух произнёс, хотя рта, кажется, не раскрывал.

«Нет, не осилю...», – это уже точно вслух ответил, даже почувствовал, как пересохшие губы друг о друга прошуршали. Совсем не к месту вспомнил, что очень похоже, летом крылья у стрекоз шуршат. И другое, уже больше настроению соответствующее, вспомнил, что с тех пор, как в неволе оказался, регулярно приходилось с темой этого самого добровольного «ухода» в лоб сталкиваться. На тех же «петрах», где его неволя старт брала, обратил внимание, что алюминиевые кружки для питья, которые трижды в день арестантам в открытый кормяк просовывали, сплошь без ручек были. «С чего так?», – не сдержал он тогда своего любопытства.

«Ручки отклёпывают, чтобы мы из них заточки не делали, потому что этими заточками кому-то, в первую очередь самому себе, кровь пустить можно!», – пояснил ему бывалый сокамерник. Показалось, с наслаждением пояснил, потому как смаковал своё уверенное, основанное на собственном опыте, превосходство над испуганной растерянностью первохода.

Очень к месту вспомнилось, что арестантам в СИЗО и наручные часы иметь строго воспрещалось. И этому в самом начале своей неволи успел он искренне удивиться. Опять же хожалые соседи с матёрыми прибаутками пояснили: так, мол, мусора про наши драгоценные жизни беспокоятся – ведь каждые часы стеклом снабжены, это стекло разбить можно, и его осколками по венам полоснуть, чтобы тот же «уход» обеспечить. Короче, понятно...

Тогда, правда, никаких мыслей про «уход» и в помине не было, а сейчас – вот они: упали откуда-то, покружили хороводом, а потом и навалились. Очень подходящее слово в арестантском арготизме для определения подобной ситуации есть – «нахлобучило». Именно нахлобучило, будто колпаком глухим накрыло, от всех забот отгородило, а под колпаком этим только мозг собственный один на один с этими самыми мыслями про «уход» и всё, что с этим связано.

Удивительное дело, эти мысли все прочие темы куда-то на задворки сознания отодвинули, свою диктатуру утвердили. Жесткую диктатуру, потому как ни о чём другом думать просто не получалось. Будто мозгу сверху команды кто-то рявкал, и мозг в струнку вытягивался, под козырёк брал и все команды эти неукоснительно выполнял. Вот сейчас команда «Ищи вариант ухода!» прозвучала. Соответственно цыган с простынёй жгутом скрученной возник, и заточки арестантские вспомнились. Только не к месту всё это объявилось, совершенно без всякой пользы. Никакого намёка на пример для подражания или руководство к действию. Пока никакого намёка на пример для подражания...

Ещё картинка из недавнего прошлого, уже отмеченного клеймом «несвобода», всплыла. В той же «пятёрке» в соседней хате парень «ушёл», накануне всё «колёса», что в камере были, проглотив. «Колёс» много набралось (от кашля, простуды от болей в животе и т. д.) Кто-то из соседей видел, в три захода по пригоршне забрасывал. Сработало! Вроде как спать лёг, только уже не проснулся, возможно, и не засыпал: утром сокамерники обнаружили его с открытыми глазами и с засохшей, почему-то блестящей струйкой зелёной слюны из уголка рта.

Проплыла картинка эта, как рыба подо льдом, да тут же прочь отъехала, потому как очередная команда грянула. Собственно, не команда даже, а вывод. Почти тот же, что после того, как цыгана, лёжа удавившегося, вспомнил: «Не твой вариант... Не твой способ... Не твой путь...»

Вывод, вроде, и безоговорочный, только за ним следом без паузы на раздумья, вопрос вздыбился, ещё более жесткий: «А какой он, мой вариант? Да и есть ли они вообще здесь варианты? Может быть, и нет никакого резона эти варианты-способы искать, потому как ни один из них не пригодится, потому как любой из них вдребезги разобьётся об... элементарную собственную трусость...».

Трусость... Нехорошее слово. Склизкое, рыхлое, вялое. И в то же время монолитно твёрдое, укреплённое изнутри арматурой невиданной прочности, коли так лихо расшибаются о него все эти варианты-способы.

Совсем не к месту, а, может быть, наоборот, самый раз вовремя, аккурат, «в яблочко» вспомнил, как давным-давно читал книгу то ли американца то ли англичанина про ту же, хоть и буржуйскую, комфортную, но всё равно, давящую и уродующую, тюрьму. Герой той книги, доведённый страхом и отчаянием «до точки», свой вариант «ухода» нашёл: размозжил себе голову о бетонную стену камеры. И не с одного даже раза у него это получилось: дважды или трижды повторять пришлось.

Опять вопрос возник, резкий, как удар под дых: смог бы так? Сразу ответил, совсем не тратя время на раздумья: не смог бы! Мгновенно определил и причину: та же трусость! Безжалостно определил, хотя маячило на задворках сознания нечто спасительно-оправдательное про то, что негоже так в полном здравии со всего маху головой в бетон колотиться. Вроде как не для того человеку голова дана. Мол, гомо сапиенс, и всё такое. Тут же и что-то рациональное, рожденное некогда обретенным инженерным образованием, замигало: не те габариты у пространства бутырской камеры, чтобы разбегаться. А без разбега никакого эффекта. Можно, вероятно, и без разбега, только это уж совсем глупо выйдет, опять же человек – это всё-таки человек, а не дятел какой-нибудь. И опять, не сколько звучащий, сколько ощущаемый, голос за кадрами сознания выдал очередную порцию бесстрастного и безжалостного: это – опять трусость, да ещё и самолюбование совсем не мужское, ишь ты, некрасивым показалось головой в стену! Только всё равно за всем этим – та же трусость!

В придачу подумал, что англичанин или американец за решеткой – это одно, а русский – совсем другое. Разве представишь, чтобы тот же Достоевский в такую ситуацию своего героя вставлял. Хотя, при чём здесь Достоевский, и все темы про почву и корни, когда кровь у всех людей одного цвета. Наверное, и звук от удара башкой о стенку каменную одинаковый, независимо от того, кому эта башка принадлежит. И опять жестокость по отношению к самому себе проявил, потому как посчитал, что за рассуждениями об особенностях национального характера в данном случае опять трусость нагло выглядывает, и мурло своё в торжествующей гримасе кривит.

– Шлёнки давай! – как из другого мира голос баландёра прорвался.

Голос услышал, но про себя отметил, что перед этим должен был раздаться лязг кор- мяка откидываемого и грохот телеги, на которой баландёры еду обычно развозят. Не слышал! Отшутился сам для себя: значит, вот так глубоко в мысли о национальном характере ушел. Будто для этого лучшего места и времени не нашлось. Хотя... Как не крути, а тюрьма для русского человека – это что-то трижды особенное. Это, вроде как, и обязательная составляющая национальных декораций, и оселок для становления опять же чисто национального характера, и ещё много чего очень своего, очень русского, что веками формировалось, и что, несколько в разговорах размусоливать можно, сколько улавливать и ощущать надо. Только за что же такой крест у народа, частью которого являешься? На этот вопрос никакого ответа в собственном сознании не обнаружил, зато с грустью отметил, что самое время ему что-то о Боге подумать. Кажется, самое время и самое место. Самое место и самое время. Только... не складывалось.

Верно, в самом начале неволи своей крутилось что-то в его голове на эту тему: каждый в тюрьме про Бога вспоминает, в какую бы веру крещён не был. Только все эти мысли какие-то водянистые и невнятные были, а, если до конца честным быть, выходило, что про Бога вовсе ничего конкретного не думалось. Вот так! Тюрьма, где про Бога думать принято, была. Бог, в которого он верил, разумеется, был. И он сам, тот, кто уже частью тюрьмы стал, и кому почти девять лет неволи предстояло расхлебать, наличествовал. Только всё это как-то отдельно, то ли в параллельных мирах, то ли на разных орбитах. Тут и совсем крамольное откуда-то вкра- лось: Бог – он только для тех, кто на воле! Для тех, кто среди сплошного «нельзя» и «не по- ложено», его – нет! Вполне складно выходило: коли столько в неволе этих «нельзя-не положено», значит, и Бог в эту категорию угодил. Значит, для арестанта, Бог – это то, что и «нельзя» и «не положено» в «одном флаконе». Чётко и логично складывалось: живёт человек на воле – есть для него Бог, угодил за решётку, неважно даже, виновным – невиновным, Бога для него уже нет. По ту сторону решётки остался. Для тех, кто на воле. Для тех, у кого жизнь из событий и движений состоит, а не в куцей коридор между «нельзя» и «не положено» втиснута.

Понимал, не разумом, а чем-то более глубоким и куда более важным, что эти мысли – неправильные, от которых только отчаяние и прочее внутреннее разрушение, чувствовал, что гнать прочь эти мысли надо, что бежать от них надо, но ничего с собой сделать не мог.

Возможно, ещё немного и довели бы его подобные мысли до окончательной беды, только не случилось этого. Будто кто эти мысли, как коней у обрыва, в самый последний момент подхватил под узцы и, сначала удержал, а потом и куда-то прочь отворотил. Просто пропали эти мысли. Правда, после них в голове что-то чёрное и тяжелое осталось. Но и это ненадолго.

Кажется, он уснул, потому что не слышал ни скрежета ложек о шлёнки (время ужина), ни шума воды из открытого крана (мылась посуда), ни голосов сокамерников (обсуждались тусклые тюремные новости). Но мозг работал, и производимые им мысли были совсем непо- хожи на то, чем ещё совсем недавно было наполнено сознание. Сначала они крутились вокруг всего двух фраз: «Не ты – первый, не ты – последний... И в зоне люди живут...» Затем к ним прибавилось чужое, но очень правильное, давно где-то прочитанное: «Что нас не убивает, то делает нас сильнее...»

Дальше вместо мыслей, обличённых в слова и предложения, появилось что-то цветное. То ли яркий орнамент, то ли панно какое-то из разных кусков составленное. В этих разноцветных пятнах и кусках определённо улавливалось нечто системное и даже красивое, вот только... цвет этих компонентов... Куски и пятна были раскрашены в совершенно незнакомые цвета. Никакого красного, никакого оранжевого, никакого желтого! И ничего похожего ни на зелёный, ни на голубой! И никакого намёка на синий и фиолетовый! Были выстроенные в определённом порядке разноцветные куски и пятна. Были то подчёркивающие то дополняющие друг друга сгустки разного цвета, но слов, чтобы назвать эти цвета не находилось, потому что не было в привычном человеческом мире таких цветов, соответственно не находилось и человеческих слов, чтобы их описать.

«Всё-таки подвинулся, рехнулся», – первая мысль после картинок нездешних цветов была. Даже показалось, что был у неё спасительный привкус. Только это на самую ничтожную долю секунды. Тут же внутренний голос и прокомментировал. Ехидно и мстительно: «Легко отделаться хочешь... С дурака и спросить нечего...» И уже знакомое добавил, как гвоздь вколоти: «Не твой это путь!»

Теперь уже совершенно ясно было, что он не спал, потому что широко открытые глаза его блуждали по сторонам, патрулировали взглядом уже до мелочей знакомое ближайшее нависающее и давящее пространство. Похоже, он инстинктивно пытался найти какое-то объяснение тому, что секунду назад явственно, почти осязаемо маячило в его сознании и удивляло цветами, которых в обычной жизни не существовало. Ничего, даже похожего на объяснение не находилось, но беспокойства и волнения от этого не возникало. Наоборот внутри появилось и уверенно набирало уверенную силу ощущение чего-то правильного и доброго. Уже случайной нелепостью на этом фоне вспомнилась всплывшая из детства шутливая запоминалка: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Каждый – красный, охотник – оранжевый, желает – жёлтый, и так далее. Выходило, что ничего тот охотник желать знать не мог, и жирная неуклюжая, даже летать даже толком не умеющая, птица здесь просто не причём.

Ещё раз крутанулась в сознании шутливая детская запоминалка, царапнула словом «сидит». На автомате вспыхнуло возражение: «Не фазан, далёкий и абстрактный сидит, а ты – вполне конкретный, близкий, осязаемый, и не придуманный охотник в тебя целится, а девять лет или сто восемь месяцев ещё более конкретного строгого режима опять же к тебе примериваются... Кстати, фазан посидит-посидит, да и на другое место переберётся, у него всё-таки свобода, а у тебя девять лет обязательно-принудительного нахождения в рамках «нельзя» – «не положено»... Слаще судьба, выходит, у этой жирной, не очень летающей птицы...»

И всё-таки, откуда взялись эти нездешние краски, эти цвета, прежде невиданные? Если признавать, что они только что были, что они вообще есть, значит, впору ждать, что, того гляди, звуки, а, следом и запахи, объявятся, которые прежде никому не известные. И как всё это привычными мерками мерить, как всё это между теперешними «нельзя» – «не положено» Хорошо бы опять всё списать на тот случай, когда человек не в себе, попросту сказать, рехнулся человек? В последнем случае всё куда понятней и логичней, только не приживалось в сознании, кажется, вполне, естественное в этой ситуации, объяснение.

Мало того, не приживалось, через мгновение от него ни тени, ни напоминания не осталось. Зато опять маячила внутри, но уже собственная, уже безо всяких потусторонних команд, жёсткая уверенность полностью соответствующая формуле «НЕ ТВОЙ ПУТЬ!» А следом и шёпот раздался, тихий, но возражений не допускающий: «Это время будет нелёгким, но самым памятным и самым нужным в твоей жизни, за это время ты получишь ответы на все самые важные вопросы, то, что родится в твоём сознании, это станет твоим оружием, с которым ты пойдёшь дальше по жизни и будешь одерживать только победы...»

Мелькнуло там же, на краешке сознания, подобие сомнения: «Сколько там этой жизни осталось, когда уже в пятый десяток въехал...», только спустя миг и от этого сомнения ничего не осталось, зато пришла ровная уверенность, что этой жизни будет обязательно ещё много.

Ещё несколько мгновений прошло и уже безо всякого шепота, самым собой, подумалось: условия нынешней жизни таковы, что очень много у него сейчас свободного времени, и что это время совсем не по делу расходуется, что самый раз теперь заняться тем, до чего раньше руки в суете и хлопотах, не доходили.

На автомате рука под подушкой засаленный блокнот нашарила. Тот самый, дневником быть приговорённый. Под тёмно-синим прямоугольником, в который превратилась недавно записанная фраза, начал набрасывать он перечень нового содержания нынешней своей жизни. Почему-то торопился, потому и не было в этом плане логичной последовательности и мудрой очередности. Пункт «отжиматься утром: три по пятьдесят на кулаках... через две недели увеличить на полтинник...» соседствовал с «выучить «Отче наш», напоминание «заказать английский самоучитель...» стояло перед «записывать каждый день наблюдения и ощущения...», установка «делать дыхательную гимнастику у форточки...» следовала за «перечитать житие протопопы Аввакума...» Ещё много чего неожиданного было в том перечне. Если и не каллиграфическими, но вполне ровными и правильными были на этот раз выводимые им строки.

Ни с того ни с сего вспомнилась недавняя картинка в собственном сознании, состоявшая из кусков невиданных и, вроде как, несуществующих цветов. Восстановить её в памяти уже не получилось, но огорчения по этому поводу не было. Зато было волнение, откуда всё-таки могли взяться краски, которые раньше в природе и в мире никак себя не проявляли. Впрочем, волнение это длилось недолго и сменилось мягким сонным покоем. Глаза при этом он не закрывал, смотрел по-прежнему в сторону стены, крашенной по бутырской традиции в нездорово-бордовый цвет, который бывалые арестанты называли цветом мёртвой печени. Совсем недавно видел он здесь двух своих сыновей. Видел, понимая при этом, что быть их здесь не могло. Сыновей, возможно, и не было, зато по-прежнему присутствовали в поле его зрения и раковина с угрюмыми проплешинами отбитой эмали и край сваренного из уголков стола-дубка.

Было уже желание закрыть глаза, чтобы, если не заснуть, так, по крайней мере, просто не видеть этой постылой панорамы, но взгляд нечаянно ушёл вправо. Туда, где должна стоять двухъярусная койка, по странному капризу мусорской администрации ещё не заселённая арестантами, потому и лишённая матраса и прочих предназначенных для арестантского блага тряпок. Всё правильно! На месте шконарь! Никто не изымал его из тюремного интерьера. Вот он, железный, плохо крашенный, тронутый ржавчиной, с продавленной панцирной сеткой, арестантский шконарь – обязательный компонент убогого интерьера камеры в любом российском СИЗО. Кажется, ничего не изменилось в его облике.

Впрочем, совсем иным был уже этот шконарь. Потому что на втором ярусе, говоря тюремным языком, на пальме, он увидел... ангела. Белого, очень белого, даже неестественно белого, слепящего глаз, цвета.

«Всё-таки рехнулся!» – нашёл он самое близкое объяснение увиденному и поспешно зажмурился, почти уверенный, что, когда откроет глаза, пальма койки напротив будет пустой.

Ошибся! На месте был ангел, ещё и шевелил полусложенными крыльями. Казалось, это движение негромким, но явственным шорохом сопровождается. Показалось, что и голову он поворачивает, будто со снисходительным интересом оглядывает убогий бутырский интерьер.

Почему-то сам себя спросил про того, чьё неожиданное присутствие обнаружил здесь, в бутырской камере: «Он сидел, парил или просто был?» Вместо ответа сам себя обозвал: «Дурак! Сидишь здесь пока только ты сам, а к ангелу такие формулировки вообще нельзя применять, он просто... или есть или нет...»

Ещё раз зажмурился, но уже совсем по другой причине: боялся вспугнуть своим, наверняка безумным в этот момент, взглядом невиданного гостя.

За время, пока не открывал глаз, опять сам себе спросил: какой он, тот, кто появился на пальме койки напротив. Вопрос слишком сложным показался, потому его на более мелкие вопросы попроще пришлось разбить: какого размера ангел, на кого похож лицом, какое оно, само это лицо... Ответов не нашлось, зато появилась чёткая уверенность, что вопросы эти неуместны, соответственно, ответов на них просто быть не может.

Следом и то ли объяснение, то ли понимание появилось: никаких человеческих и прочих привычных параметров у того, кто на верхнем ярусе шконаря появился, быть не может. Потому что... Вроде бы и готовы были появиться в его сознании какие-то правильные слова по этому поводу, но почувствовал, что это – лишнее. Настолько лишнее, что даже захотелось голову в плечи глубже спрятать. Ясно он понимал, что никаких объяснений по поводу всего происходящего не существует, но мозг, скорее по инерции, чем по разумению выдал очередные вопросы очень похожие на утверждения с ничтожными комментариями.

«Знамение?» – это просто слишком. С какой стати? Это ближе к святости и к подвигу, я к этому никаким боком, реалистом быть надо, таких, как я, в стране во все времена многие тысячи...

«Награда?» – вроде как компенсация за нынешние мытарства. Возможно, только кто это подтвердит. Почему, именно мне... Почему, именно сейчас... Почему, именно в таком виде... Опять же, почему мне, когда таких, как я по всем российским центрам пруд пруди...

«Аванс?» – а чем такой аванс отбавывать придётся, как бы не вышло, что потом отдавать не пришлось куда больше, чем получаешь. Хотя... Разве можно здесь, в этой необычной ситуации что-то измерять обычными мерками и понятиями. Да и кто здесь будет возиться с линейками и весами...

Велико было желание открыть глаза, он и не стал противиться. Правда, схитрил: глаза открыл не полностью, оставил их прищуренными, когда со стороны полная уверенность – закрыты глаза у человека, но из-за опущенных ресниц ему всё видно. Он и увидел: на месте ангел, только своего необычного белого цвета прибавил. Теперь этот цвет настолько ярок был, что совсем мешал ещё раз разглядеть детали облика гостя. Собственно, цвета уже и не было вовсе, вместо него был только свет. Оказалось, что очень вовремя прищурил он глаза, иначе было бы им больно от этого света. И не было сомнения: погасни в этот момент единственная светившаяся едким тюремным светом лампа под потолком камеры, всё равно было бы здесь светло, хоть книгу читай.

Сами собой плотнее зажмурились глаза, но теперь было ясно; если их открыть никакого ангела на пальме шконаря уже не будет. Ясность – ясностью, но краешек надежды оставался: вдруг ещё побудет здесь белый светящийся гость. Ясность сильнее надежды оказалась. Когда глаза открыл, пустым увидел верхний ярус койки напротив. Всё, как и прежде: и плохо крашенные тронутые ржавчиной железяки главного предмета арестантской мебели, и продавленная панцирная сетка – всё на месте. Только источника необычного, очень белого, почти слепящего, света не было. Источника света уже не было, но сам свет ещё оставался. Сначала он полностью повторял своими искрящимися границами контуры фигуры недавнего гостя, потом стал уменьшаться в размерах, наконец, скукожился в пятно размером в кулак. Потом и пятно растаяло. Пятно пропало, но уверенности не убавилось: на этом месте совсем недавно был свет, источником света был... ангел. Как, зачем и почему появился он на пальме шконаря в бутырской камере, думать не хотелось. Но уверенность была, что так было надо.

Будто в подтверждение последней уверенности музыка появилась. Именно не зазвучала, а появилась, будто осязаемой плотью и объёмом обладала. Удивительно, не в его голове, не в его сознании она родилась, а появилась откуда-то со стороны, чуть ли не от окна с двойными решётками, из которого, кроме куска кирпичной кладки стены напротив ничего не видно.

Очень торжественной, не по-земному величественной, была эта музыка. Увертюра, гимн и марш – всё вместе, если обычными стандартами жанр определять. Только совсем не угадывалось в ней привычных музыкальных инструментов, даже обычных звуков там не было. Всё это заменялось другим, чем-то куда более серьёзным и высоким.

«Ну вот, вслед за нездешними красками, такие же звуки пожаловали...» Хотел было опять схватиться за спасительный, всё объясняющий ярлык «Всё-таки рехнулся...», да всплыла не менее знакомая жёсткая формулировка «Не наш путь!». И как то очень чётко своё место в сознании заняла. Аккурат, рядом с ясным, уже отстоявшимся, воспоминанием о том, кто появился и явственно присутствовал недавно на втором ярусе арестантского шконаря напротив.

Серебряные стрелки, хрустальный циферблат

Когда-то понятие «время» для Олега Пронина ассоциировалось с календарём, часами разных видов, словами «год», «месяц», «неделя», «выходной», «праздник».

Но это – до посадки. До того момента, как он из свободы то ли шагнул, то ли, поскользнувшись, со всего маху плюхнулся в несвободу.

Вот уж, действительно: от сумы, от тюрьмы...

Следовал дальнобойщик Пронин на своей гружёной фуре по казённому делу, на полпути до пункта назначения, на стоянке, трое шустрых крепеньких пареньков подвалило: «Куда, откуда, что везёшь, платить надо...».

Иногда в подобных ситуациях и отстёгивал, платил Олег, рассуждая, что время нынче такое... А тут... Нервы сдали. Потому как тяжело отходил после недавнего развода (загуляла жена – медсестра с новым хирургом в своей больнице). Да и на работе с начальством накануне крепко поцапался (пытался выяснить, почему одним и командировки выгодные, и машины хорошие, а другим – рейсы копеечные и запчастей на фуру не дождёшься). Будто взорвался. Буром на троих пошёл. «Платить? С какой стати?»...

Был у Олега с собой нож обычный дорожный. На случай колбаски порезать или контакты зачистить.

Один раз только и ударил. Оказалось – очень правильно с анатомической точки зрения. Аккурат, в сердце. Рэкетир – ничком на землю. Дружки – ноги в руки. Олег с трупом на стоянке среди ночи оказался. Сам в «скорую» позвонил (сгоряча, понятно, что незачем), сам полицейских вызвал (те лишь к утру приехали и только сверхточному удару удивлялись).

Вот с этого момента всё, что ранее имело отношение к понятию «время» из его сознания исчезло. Исчезло, и – окончательно...

До этого там всё, как на школьной доске ясным почерком отличницы написано было, а теперь – р-р-раз, будто взметнула мокрые космы тряпка, и... вместо слов и предложений, образов и смыслов на эту тему – только влажный пустой линолеум. В этом линолеуме что-то отражается, но это «что-то» никакого отношения к ранее написанному не имеет. Словно ничего написанного там и вовсе никогда не было.

Что со временем всё совсем не так уже в подмосковном изоляторе, где Олег в качестве подследственного находился, стало ясно.

Оказалось, что наручные часы здесь иметь нельзя. Те, кто важно величал себя представителями администрации (они же – те, кого постояльцы изолятора называли «мусорами»), однозначно бурчали по этому поводу – «не положено...».

У арестантов со стажем по этому поводу свои объяснения были. Якобы, есть специальное «мусорское» предписание, строго запрещающее сидельцам тюремных изоляторов иметь часы. Потому что циферблат там прикрыт стеклом. Вдруг иной отчаянный это стекло разобьёт, и его осколками себе вены вскроет...

Вроде бы как логика. Вроде бы как забота о жизни человеческой.

Только никто из постояльцев изолятора всерьёз подобный аргумент не принимал. Ведь те же бритвенные станки, из которых лезвие вытащить проще простого, в тюрьме иметь не возбранялось, и прочих режущих и просто острых предметов в любой хате¹ хватало.

Так что для желающих вскрыть себе вены в изоляторе проблем с «инструментом» не было.

Да и не сходилась свет клином на этих самых венах для решившегося покончить здесь счёты с жизнью. Вариантов «ухода» хватало. По беспроволочному, но всюду проникающему

¹ Хата (тюремн.) – тюремная камера.

арестантскому телеграфу, регулярно передавалось: Этажом выше парень на «дальняке»² за повешенной клеёнкой на «коне»³ удавился, в другом корпусе бедолага на нижнем ярусе двухэтажной шконки⁴ занавесился⁵ с двух сторон, приладил рубаху к «пальме»⁶, и... туда же... В соседней камере какой-то «наркоша»⁷ съел горсть «колёс»⁸, заснул и не проснулся...

На таком фоне запрет на наручные часы казался глупостью беспросветной. Только факт оставался фактом – часов здесь ни у кого не было, и быть не могло.

В тюрме «который час» можно спросить у продольного⁹, что призван круглые сутки по коридору ходить и через «глазки» во все камеры заглядывать: вдруг арестанты что-то неполюженное затевают. Этой возможностью Олег поначалу пользовался.

Сначала пользовался, а потом перестал, потому как вышел однажды конфуз, едва не обернувшийся тяжёлыми последствиями.

Раз спросил Олег у продольного про время, через пару часов снова на ту же тему поинтересовался. А продольный – здоровенный прапорщик с лицом, будто свекольным соком натёртым, взял, да и проявил бдительное рвение – накатал рапорт про подозрительное, его Олегово, поведение. В том же рапорте автор до вывода додумался: если арестант так настырно интересуется, который час – значит, с помощью находящихся на свободе сообщников, непременно готовится к побегу. Соответственно, реализацию подобного умысла надо пресечь, а за интересующимся временем постояльцем – глаз да глаз.

Разумеется, вызывали Олега к «куму»¹⁰. Понятно, написал Олег объяснительную на имя начальника изолятора, в которой заверял, что временем он интересовался исключительно по оставшейся с воли привычке, и никаких планов о побеге не вынашивал.

Уже потом, в зоне, Олег понял, что только чудом не обернулась для него та ситуация «полосой»¹¹ и особой отметкой в личном деле – «склонность к побегу».

С такой отметкой в лагере строгого режима, где жизнь и без того не сахар, проблем прибавилось бы: назойливое внимание оперчасти, регулярные проверки – лишнее беспокойство, лишнее унижение.

В принципе, часы в тюрме арестанту и не нужны. Потому что хлопоты на тему «куда спешить, куда опоздать» здесь исключение. Завтрак, обед, ужин – привезут. На встречу со следователем, с адвокатом (редкая роскошь для небогатых, в основном, постояльцев), с родственниками (если таковые есть, и если свидание с ними разрешил следователь) – позовут. Грохот открываемого «кормяка»¹² здесь сродни ударам курантов. Потому как через этот «кормяк» вся информация и поступает. И про привезённую казённую пищу. И про всякое грядущее перемещение арестанта по тюремному пространству.

² Дальняк (тюремн.) – отхожее место, туалет в тюремной камере.

³ Конь (тюремн.) – сплетённая из подручного материала (нити из распущенного свитера, нитки из носков и т. д.) тонкая верёвка, используемая для внутренних нужд и поддержания межкамерной связи («дороги»).

⁴ Шконка (тюремн.) – кровать в тюремной камере.

⁵ Занавеситься (тюремн.) – существующий в тюремной жизни обычай оборудовать спальное место занавесками, чтобы не мешал свет, как правило, горящий круглые сутки. Администрация СИЗО (судебно-следственных изоляторов) считает занавешивание нарушением дисциплины, заслуживающим наказания, вплоть до помещения в карцер. Тем не менее, этот обычай существует почти в любой тюрме, во всяком лагере.

⁶ Пальма (тюремн.) – верхний ярус двухэтажной тюремной кровати.

⁷ Наркоша (жарг.) – наркоман, человек, употребляющий наркотики.

⁸ Колёса (жарг.) – таблетки.

⁹ Продольный (тюремн.) – от слова «продол», что на тюремном жарго означает коридор. Продольный – представитель администрации, несущий службу в коридоре, призванный следить за всем, происходящим в камерах.

¹⁰ Кум (тюремн.) – начальник оперчасти в СИЗО или в лагере.

¹¹ Полоса (тюремн.) – полоса на личном деле, на прикроватной табличке и т. д. Полосой отмечают арестантов, поведение которых требует особого контроля (склонных к побегу, к суициду, к организации массовых беспорядков и т. д.).

¹² Кормяк (тюремн.) – окошко в железной двери тюремной камеры с откидывающейся полкой. Через него выдаётся пища, передаются письма, содержимое посылок и т. д.

Ещё один аргумент обоснования ненужности часов в тюрьме – почти отсутствующая разница между заведённым здесь дневным и ночным распорядком жизни.

Что день – что ночь! В общей хате – всё едино: горит свет, работает телевизор (если таковой имеется), стоит ровный гул арестантского быта (кто-то стирает, кто-то разговаривает, кто-то чифирит). Порою «движухи»¹³ ночью даже больше, чем днём. Потому как ночью и «дорога»¹⁴ работает, по ней грузы¹⁵ разгоняются, малявы¹⁶ гуляют, а то и прогон¹⁷ грянет, который полагается сразу же вслух для всей хаты зачитать.

В тюрьме не только день с ночью, но и будние дни с выходными, рабочие дни с праздниками спутать запросто.

Потому что ничем, абсолютно ничем друг от друга эти дни не отличаются. Всё одним цветом. Всё с одним запахом. Всё в одну заунывную череду. Вот и казалось Олегу тогда, что никакого времени там не было, не присутствовало, не существовало. Соответственно, никаких часов, никаких циферблатов со стрелками даже представить не получалось. Зато часто казалось, что где-то рядом качался маятник, тяжёлый, как язык церковного колокола, и этот маятник без конца повторял: «твой срок...», «твой срок...», «твой... срок...».

Много раз от бывалых, от уже сидевших слышал Олег не без бравады произносимое: «Скорей бы суд, да в зону! На зоне движухи больше, там время летит...».

Дождался и он суда, лихо отвесившего ему шесть лет строгого режима. Мог бы и больше, но мог бы и меньше, потому как на суде там про нож в руке Олега через слово повторялось, а про обрезки арматуры (гранёная «шестёрочка», легко любую кость ломающая) в руках у каждого рэкетёра никто и не вспомнил.

Добрался он и до зоны.

Верно, и пространства, и воздуха здесь было больше, и какое-то, почти свободное, перемещение (барак – столовая – промка¹⁸) допускалось, только ощущение времени к норме не вернулось. И это несмотря на то, что часы носить здесь не запрещалось.

В первой же посылке получил Олег Пронин наручные часы. Не электронные (на зоне с батарейками лишняя морока), а, как он и просил, механические, почти уже старинные, советские, знаменитые своим качеством (жена специально на ближайшей барахолке всех старьёвщиков обошла). Застегнул утром ремешок на запястье почти с удовольствием, а к вечеру обнаружил с вялым удивлением, что на циферблат за это время ни разу и не взглянул. Вроде, как и повода не было.

На проверку – скомандовали.

Про завтрак и обед – напомнили.

На работу машинально за соседями потянулся.

Выходило, что и на зоне часы не нужны.

Кстати, висели в бараке на стене большие круглые с узорчатыми стрелками часы, но и на них редко кто взглядом останавливался. Зачем? Про подъём дневальный проорёт, ещё хуже кто из «мусоров» заявится, да на весь барак просамогоненной глоткой грянет. Про обед, ужин, всякие построения – опять же кто-то из отрядных «козлов»¹⁹ непременно озвучит. В этом их

¹³ Движуха (жарг.) – движение, цепь изменений и событий.

¹⁴ Дорога (тюремн.) – система межкамерной верёвочной связи в тюрьме, по которой передаются записки, сигареты, чай, продукты, иногда мобильные телефоны, наркотики и прочие «запреты».

¹⁵ Грузы' (тюремн.) – всё то, что передаётся по тюремной дороге.

¹⁶ Малявы (тюремн.) – записка, тюремное письмо.

¹⁷ Прогон (тюремн.) – директива-инструкция с воли от авторитетов криминального мира, регламентирующая жизнь арестантов.

¹⁸ Промка (тюремн.) – часть территории в лагере, где находятся промышленные помещения, куда арестанты выходят на работу.

¹⁹ Козлы (тюремн.) – арестанты, согласившиеся на сотрудничество с администрацией, крайне неуважаемая категория осуждённых.

предназначение и заключается, ради этого к своей голове они «рога» до конца срока (точнее, на всю оставшуюся жизнь) и навинчивают²⁰.

Не вернулось в зоне и ощущение разницы «выходной – невыходной», «будни – праздники». Это потому, что на промку выходили здесь арестанты по скользящему, или, как они сами говорили, вечному графику: четыре дня во вторую смену – выходной, четыре дня в третью смену, то есть в ночь, и опять тот же выходной. И никаких понедельников-вторников, суббот-воскресений. Опять, как в тюрьме, вместо времени – та же самая сплошная монотонная и одноцветная тягомотина.

Конечно, существовала в лагерной жизни пара примет-признаков, по которым одни дни недели чуть отличались от всех прочих.

В среду каждому арестанту полагалась котлетка, диаметром аккурат в пяточок советской чеканки, в которой сои было куда больше, чем мяса.

В субботу на ужин давали варёное яйцо почти такого же размера и кусочек жареной рыбы неведомой породы.

Только кулинарные особенности не становились здесь признаками времени. Они как-то размазывались по всему прочему вневременному, на этом фоне блекли, выветривались, а то и вовсе сливались с тем же самым сплошным и монотонным, что без цвета и запаха.

Выходило, что и здесь, в лагере, не было никакого времени, а то, что должно было хотя бы отдалённо напоминать время, ассоциировалось ни с циферблатом и стрелками, а с грандиозными, изрядно стёртыми веками, медленно вращающимися жерновами. Такие Олег видел в краеведческом музее глухого северного городка, куда забрёл ради скуки, дожидаясь попутного груза в очередной своей дальнобойной командировке. Что-то похожее видел он и в каком-то чужезычном фильме про средневековье. Только реальные, пусть киношные, мельничные жернова, перемалывали зерно, умножая тем самым его, и без того великую жизненную силу. Условные же, лагерные, жернова перемалывали арестантские жизни. Результатом этой работы был не белый, ласкающий глаз мучной ручеек – символ сытости и плодородия, а чёрная труха переломанных арестантских судеб.

На втором лагерном году (третий год общего срока, первый год на изолятор и этапы ушёл) ощущение отсутствия времени для Олега только укрепилось. Правда, картина с жерновами отодвинулась, стала забываться. Вместо неё другой образ в сознании заворочался. Не сам его Олег придумал-выдумал. Просто вспомнил некогда увиденную в журнале репродукцию какого-то художника – то ли продвинутого, то ли не совсем с головой дружившего. На той картине тема времени присутствовала, соответственно, и часы присутствовали. Только в очень странном виде. Циферблат весь искорёженный, сплюснутый, погнутый. Или адским огнём наказанный, или в кислоте побывавший. Стрелок на тех часах, кажется, и вовсе не было. То есть, часы – вот они, в наличии, а время или замерло, или куда-то в сторону идёт. Не раз эту репродукцию Олег вспоминал и только удивлялся, как точно иностранный художник суть момента ухватил, будто сам на российской зоне не меньше трёшки отмотал.

²⁰ Навинтить рога, одеть рога (тюремн.) – стать козлом, занять должность, предложенную администрацией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.